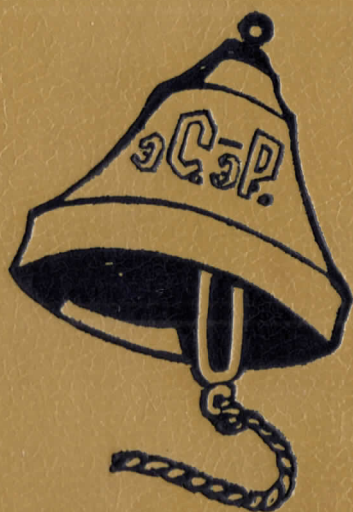


---

В. М. Чернов

---

# ПЕРЕД БУРЕЙ



93-3  
538<sup>2</sup>

В. М. Чернов

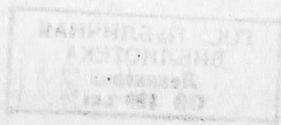
---

# ПЕРЕД БУРЕЙ

МОСКВА

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

1993



## Глава шестая

*За границей.— Цюрих: первое знакомство с П. Б. Аксельродом и Г. В. Плехановым.— Закат народофильчества.— Социал-демократы, либералы и народники.— Х. О. Житловский и его «Союз русских социалистов-революционеров».— С. А. Ан-ский*

Первым этапом в моей поездке за границу был Цюрих, где я и днем с огнем не мог найти себе политических единомышленников. Шел 1899 год. В цюрихской русской колонии преобладали молодые социал-демократы, совершенно замороженные своим — на мой вкус, очень упрощенным — марксизмом; они были к тому же целиком поглощены разгоравшейся распрей между «стариками» группы «Освобождение труда» и почти всей молодежью. У первых была теоретическая зрелость, способность охватить мыслью все ожидаемые ими будущие этапы движения. Вторые сохраняли в душе первые уроки пережитой ими самой начальной фазы движения, не выходящей за рамки чисто экономической борьбы рабочих отдельных предприятий против их непосредственных хозяев. То же, что привез с собой я, — видение назревшей аграрной революции — воспринималось борющимися сторонами как нечто равно чуждое и тем, и другим. Если некоторые из «молодых» и заинтересовались вначале моими деревенскими перспективами, то скоро от меня осторожно отошли, опасаясь, как бы на них не обрушились авторитетные «старики» за воскрешение каких-то отживших народнических иллюзий. Что касается «стариков», то представителем их тенденций был проживавший тогда в Цюрихе П. Б. Аксельрод. Человек очень живого ума, он первоначально отнесся было к моим рассказам с серьезным интересом и, по-видимому, абсолютно без всякого предубеждения. Он даже свел меня непосредственно с главным теоретиком «стариков»

Г. В. Плехановым в расчете, что, может быть, нам удастся найти общий язык и до чего-нибудь договориться. Надежда его оказалась иллюзорной: мы «договорились» лишь до жестокой словесной схватки. Она, конечно, могла только сыграть роль ушата ледяной воды и для возникшего, как мне казалось, между мной и Павлом Борисовичем взаимного расположения. Дальше дело пошло еще хуже: из России к «старикам» подоспело подкрепление в виде замечательной тройки — Ленина, Мартова и Потресова, в которой до поры до времени задавала тон воинственная непримиримость первого. Этим и был окончательно предрешен исход моих цюрихских встреч. Первая близость моя с Аксельродом быстро отцвела, не успев расцвести. Для ее частичного возобновления время пришло лишь позднее, в 1917 году, благодаря посредничеству человека, которого я очень ценил и к которому влекла меня, поверх нередких проходящих разногласий, почти инстинктивная симпатия, — Ираклия Георгиевича Церетели.

Когда в Цюрих приехал из Берна с очередной лекцией Х. О. Житловский, это при моем тогдашнем политическом одиночестве в Цюрихе было для меня настоящим подарком судьбы. Я буквально изголодался по авторитетному человеку старшего поколения, способному с сочувственным интересом отнестись к перспективам, открывавшимся передо мной после первых попыток деревенской работы в Тамбовской и соседних — Саратовской и Воронежской — губерниях. Я развернул перед Житловским все мои планы, и прежде всего план создания за границей в крупном масштабе обслуживающей назревающее аграрное движение литературы. Попутно я посвятил его в секрет обретенной нами в России «ячеичной формы» деревенской организации — крестьянского братства, — которая так легко и быстро прививалась в местах, затронутых нашей пропагандой, что, казалось нам, явно может стать основой будущего всеобщего крестьянского союза. Житловский своей отзывчивостью сразу вывел меня из тупика. Он обещал, что устав нашего мужицкого братства отпечатает в ближайшем же номере издаваемого им маленького журнальчика «Русский рабочий» и что следом за этим его союз откроет кампанию за привлечение внимания всех русских социалистов к «очередному вопросу» момента — перенесению массовой организации с передового проле-



тариата городов на отстающее от него трудовое земледельческое население деревень.

Но это было еще не все, чем новый знакомый привлек на меня необычайное впечатление. Кроме моих обязанностей по отношению к начатой деревенской работе я при поездке за границу имел и другие планы. Еще в России я увлекался общемиросозерцательными проблемами, составляющими предмет науки наук — философии. Пути моего мышления в этой области пролегали в равном отдалении и от немецкого философского идеализма, превращавшего философию в метафизику, и от упрощенного материализма, впервые насажденного в России писаревщиной. Я был лишь в основном знаком с зарубежной критикой того и другого; мои знания иностранных языков были зачаточны, да и доставать книги на иностранных языках тогда, кроме столиц, было почти негде; въезд же в столицы мне был со времени выхода из крепости запрещен. А между тем на умы русской молодежи шел на моих глазах поход: с одной стороны, адептов материализма, перевооруженного уже по-новому диалектическим методом в духе Маркса и Энгельса; с другой стороны, разочарованных материалистов, вернувшихся на пути Гоголя, Достоевского и славянофилов: от модного неокантианства и его теории познания они взяли лишь его познавательный скепсис и тем безудержнее преобразились в искателей безусловной истины и сверхопытного трансцендентного знания, даваемого свободой и крылатой мистической интуицией.

Молодость дерзка, и я очертя голову ринулся в бой статьями в «Вопросах философии» и в «Русском богатстве». Но чем более бой разгорался, тем напряженнее ощущал я потребность в философском довооружении. В общем плане заграничной поездки я уделял поэтому достаточное место для того, чтобы припасть непосредственно к родникам новейшей философской мысли Европы.

Житловский предстал передо мной как живой выходец из того мира философской мысли, в двери которого я давно уже в мечтах моих стучался. Он был на десять лет старше меня: он родился в 1863 году в Витебске, я — в 1873-м в заволжском степном Новоузенске. Житловский закончил свое образование в Бернском университете со степенью доктора философии, внушавшей мне

по новизне дела сугубое почтение; я же был извлечен зубатовскими ищейками из стен Московского университета всего лишь при переходе с первого курса юридического факультета на второй и продолжил свое общее образование в традиционном пристанище мятежных искателей истины — в тюрьме. Житловский владел, как родным, самым философским языком того времени — немецким. Я знал его лишь в объеме программы классической гимназии. В беседах со мной он с большой легкостью оперировал знанием всех разветвлений неокантианства; для меня многие из них были еще землей неведомой. Естественно, что я во многих вопросах мог ждать от него откровений и глядеть на него как на учителя — снизу вверх. У него были, в общем, простые и приятные манеры, лишённые тогда всякой претенциозности и «генеральства».

Те несколько дней, которые Житловский провел в Цюрихе, мы с ним были почти неразлучны. В нем меня привлекали беззаботно-доброжелательная общительность характера, находчивость и остроумие. Перед отъездом он усиленно соблазнял меня покинуть скучный Цюрих и перебраться в Берн. Он прежде всего представлял в мое распоряжение хорошо подобранную философско-социологическую библиотеку, главным образом немецкую, и предлагал самого себя в гиды по лабиринту школ, систем и обобщений. Одновременно с этим он советовал мне сразу же записаться в студенты Бернского университета: как для того, чтобы систематически провести то свое собственно научно-философское довооружение, о котором я мечтал еще в России, так и для того, чтобы вооружиться докторским дипломом, чему он придавал очень важное значение.

Я колебался недолго: в Цюрихе меня ничто не удерживало.

Весь первый год, проведенный мной в Берне в ближайшем общении с Житловским (редкий день мы с ним не виделись), был, так сказать, медовым месяцем нашей дружбы. Не осталось, кажется, ни единого вопроса, о котором у нас не было бы на все лады говорено и переговорено.

Личность его меня очень заинтересовала; но впервые пришлось мне почувствовать, что, несмотря на идейную близость, мы в некоторых вопросах расходимся. Это начало меня тревожить.

Юность Житловского в России была осенена закатом грозного Исполнительного комитета «Народной воли», и лишь когда там уже «облетели цветы, догорели огни», он перебрался в эмиграцию. В эмиграции он нашел долетавшие головни недавнего революционного костра. Особенное волнение вызывал среди эмигрантов Лев Тихомиров, когда-то друг и сотрудник Андрея Желябова и Александра Михайлова. Вместе с ними член Исполнительного комитета и даже еще более тесной Распорядительной комиссии внутри последнего Тихомиров пережил общий кризис революционного сознания. Временный выход из положения он нашел в фактическом уходе с боевых постов, а затем в эмиграции, где написал свою прогремевшую статью «Чего нам ждать от революции?». Эта его статья отвергала привычную желябовскую демократическую концепцию: завоевание вместе с либералами конституции; с ними или без них — полная ликвидация старого порядка через Учредительное собрание; передача всей земли народу; построение на народном трудовом правосознании и на общинном и артельном укладе под руководящим реформаторским влиянием народнической интеллигенции основ эволюционного трудового народного социализма. У Тихомирова массовый, народный характер революции улечувивался; вся она становилась насквозь якобинско-бланкистской; силы ее в тесных рамках тайного общества должны были заранее сложиться в подпольное предгосударство, своего рода мафию или каморру, для нее заговор будет путем не к революции, а к государственному перевороту, это будет превращение куколки — нелегальной заговорщической партии в бабочку — новое государство заговорщиков. Вдруг вынырнувший из подполья революционный абсолютизм — так расшифровали мы позже секрет революции сверху в тихомировской версии, когда она дошла до нас в России. И всю тихомировщину мы тогда начисто отвергли.

Мы мечтали о возврате к желябовской версии общего хода революции, но на гораздо более широкой массовой опоре, опоре, фактически отсутствовавшей в дни «Народной Воли». Какой именно массовой? Мужичкой? Пролетарской? Той и другой, предназначенных ходом истории слиться неразрывно в единую плебейско-трудовую организующую силу новой России. Прибавлю, что мысленно к ней мы, следуя Желябову, присоединяли

еще «третий», в общем, союзный «элемент» — культурную, либерально-демократическую общественность, земщину. И мы очень рано почувствовали, что имеем за границей поддержку в этих наших взглядах у Житловского. У нас уже при обысках были найдены первые номера издававшегося Житловским журнальчика «Русский рабочий». Мы причисляли Житловского к своим, хотя еще мало его знали: на основную нашу тему — об органической связи между социализмом и политической борьбой — он сумел написать и опубликовать, в общем, ценную для нас книжку лишь в 1898 году.

Нельзя не отметить, что в наших рядах в России незадолго перед тем шли слухи об издательской деятельности лондонского «Фонда вольной русской прессы», затевавшего выпуск большой политической газеты с Сергеем Степняком-Кравчинским во главе. По новейшим высказываниям Степняка мы знали, что он давно отрешился от пережитков навеянного Бакуниным аполитизма и является надежным адептом михайловско-желябовской концепции. Но группа Житловского, ревниво блюдя свою самостоятельность, не спешила к нему присоединиться, а жизнь самого Степняка вскоре была внезапно унесена несчастным железнодорожным случаем под Лондоном. Помню, каким эта смерть была ударом для нас в России. В своих последних писаниях, и особенно в чрезвычайно содержательном послесловии к «Подпольной России», он с необычайной политической зоркостью предсказывал, что о простой повторной постановке на исторической сцене бывшего народовольческого плана и речи быть не может. Самая отправная точка его — строгое самозамыкание в подполье для подготовки заговора, приводящего к захвату власти, — была бы анахронизмом. Не в искусстве до поры до времени затаиться, а, наоборот, в искусстве постепенной непрерывной мобилизации и развертывания все новых и новых сил для вывода их на открытую общественную арену будет заключаться секрет успеха. У Степняка нами была воспринята общая идея — последовательного развертывания и нарастания всех видов общественного протеста против самодержавной государственности, начиная с самого невинного, скромного и хотя бы полунамеком участия в наглядном подсчете сил, жизнью разделяемых на «мы» и «они». Здесь утилизировано может быть все — вплоть до «всеподданнейших» адресов земских собраний, — лишь



бы, кроме внешней легализованной формы, из этого эпитета ничего не проскользнуло в их содержание; вообще кампания петиций, резолюций всевозможных существующих обществ и учреждений; заявления всякого рода съездов, особенно во всероссийском масштабе; введение в российскую практику не раз игравших крупную роль в истории западноевропейского либерализма так называемых политических банкетов и митингов, в атмосфере крупного общественного резонанса выносимых из четырех стен залов и аудиторий под открытое небо, на улицы и площади, вплоть до перехода их в публичные массовые уличные демонстрации вообще. Отчасти эта тактическая идея была изложена в манифесте партии «Народное право» (тютчевско-натансоновской) как приглашение противопоставить директивам власти «организованную силу общественного мнения». Но не абстрактными формулами заражается народно-общественная энергия, а живым приступом к совершенно конкретным планам кампаний, в проведении которых находят себе место все возможные силовые элементы. Тщетно ждали мы широкой поддержки этой идеи на пороге 900-х годов от большинства политических группировок русской эмиграции, не исключая и союза Житловского. Лишь когда все они влились в объединенную партию социалистов-революционеров и в ней растворились, наступил момент для испробования этого тактического плана на практике.

Житловский в русской эмиграции выступил как заметная величина в эпоху, когда после разочарования, а затем и ренегатства Тихомирова окончательно стал на очередь вопрос о дележе «наследства» «Народной воли». Тому способствовали смерть последнего члена Исполнительного комитета — замечательной русской женщины Оловенниковой-Ошаниной и надвигавшийся конец патриарха народнической эмиграции П. Л. Лаврова.

Но значительно раньше Житловского выдвинулся готовившийся вступить в «последний и решительный бой» с Тихомировым, превосходивший его и своей теоретической подготовкой, и силой аналитического ума, и энергией, и, наконец, блеском полемического дарования Г. В. Плеханов.

Борьба его с народовольчеством была давнего происхождения — с конца «Земли и воли». Не раз фигурально говорилось, что она была раскола надвое:

одни осью своей работы взяли «землю» (это был Плеханов, создавший «Черный передел»), другие — «волю» (это была «Народная воля» с борьбой за политическую свободу). Раскол был делом рук Плеханова, надеявшегося на воронежском съезде добиться исключения политиков-террористов. Потерпев поражение, он «хлопнул дверью» и попробовал под новым именем восстановить землевольтчество в его первоначальной чистоте. Его ждала новая неудача: история «Черного передела» свелась к ряду последовательных отколов русских работников и присоединению их к большинству землевольтцев, оставшихся под флагом завоевавшей себе героическую славу «Народной воли».

Идеологическая карта «Черного передела» была заранее бита уже тем, что против критического народничества Глеба Успенского, поддержанного Михайловским, Плеханов не только должен был ратовать за романтическое народничество Златовратского, но и держаться единого фронта с полуанархистом-полумонархистом Юзовым-Каблицем, завершившим свою эволюцию окончательным переходом на позиции реакции и антисемитизма. Путь этот был безнадежен.

Перед Плехановым, по-видимому, иногда вставал вопрос о соглашении с народовольцами, к чему его и его друзей склонял Тихомиров, все более терявший веру в народовольчество, но еще некоторое время сохранявший формальную верность знамени таких старых друзей, как бесконечно импониравший ему Александр Михайлов. Плехановцам он предлагал порознь войти в ряды «Народной воли» и, не полемизируя с ее прошлым, постепенно перерабатывать ее идеологию в марксистском духе. Плехановцы, кажется, наполовину уже склонялись к этому, но переговоры их с народовольцами кончились, когда в руки народовольцам попало письмо Стефановича к Дейчу, понятое ими как план взрыва «Народной воли» изнутри.

Нетрудно было себе представить, какие происходили за это время бесчисленные бури на собраниях русских колоний в эмиграции. Житловский был частым оратором на этих колониальных собраниях; имя его уже начало произноситься наряду с именами Тихомирова и Плеханова. К тому времени, когда я приехал за границу, Житловский был уже признанным лидером нового, социально-революционного направления.

Он был одним из основателей заграничного «Союза русских социалистов-революционеров», которому удалось связаться с другим, существовавшим в России (с центром в Москве) «Союзом социалистов-революционеров» и принять на себя роль заграничного представителя последнего.

Надо не забывать — иначе впадешь во множество ошибок, — что в то время единой партии социалистов-революционеров в России еще не было. Самое имя «социалисты-революционеры» как специфическое обозначение нашего течения в русском социализме явилось почти случайно. Исторически одинаково социалистами-революционерами называли себя и землевольцы, и народолюбцы, и чернопередельцы; даже стоявшие на грани между либерализмом и социализмом народоуправцы не отказались от освященного всей прошлой историей имени социально-революционной партии. И Плеханов еще в середине 90-х годов говорил о социал-демократическом секторе в общей семье русских социалистов-революционеров. Житловский и главный друг его по заграничному союзу Хонон (Шарль) Раппопорт наивно думали, будто наименование «социалисты-революционеры» есть их личное изобретение, на которое они как бы взяли от истории патент. И каждый раз, когда до них доходили вести о существовании в разных местах России социалистов-революционеров, они преисполнялись гордым сознанием, будто все не ушедшее в марксизм русское движение идет указанными ими путями и духовно формируется их социально-политическим гедо. И они действительно уверовали, будто их заграничные успешные выступления вместе с двумя-тремя печатными брошюрами их союза стали для будущего водоразделом: одна половина движения создана их проповедью, как другая — проповедью Плеханова, Аксельрода и Веры Засулич.

В политической жизни Житловского и Раппопорта, как мы дальше увидим, aberrация эта сыграла поистине роковую роль. Именно она заставила их выступить с притязаниями, далеко не соответствовавшими ни их личным ресурсам, ни тому, что удалось им дать русскому освободительному движению. Для их самочувствия почти ударом был приезд в 1901 году из России Григория Гершуни, принесшего с собой весть о сплочении там эсеровских сил в Объединенную партию социалистов-революционеров, для которой зарубежный союз

Житловского и Раппопорта не значил почти ровно ничего.

\* \* \*

Из Парижа пришло письмо: «Семен Акимович едет лично с Вами познакомиться и обо всем переговорить. Заверяет: ни одно дело не было ему до такой степени по сердцу, как Ваше. У него зреет план, на кого в эмиграции можно и нужно Вам опереться; а эмиграцию знает он, как никто. Но настойчиво советует: до свидания с ним от всяких решений, которые могли бы Вас связать, воздержитесь!»

Так спешили меня обрадовать друзья, посвященные мною в мои проблемы.

Пока за границей мне не везло. Где найти людей, способных засесть прежде всего за работу самого создания народной литературы, потом — выпуска ее в свет в количестве, хоть сколько-нибудь соответствующем потребности в ней огромной крестьянской массы? Где найти умеющих говорить с мужиками на понятном для них языке, однако без грубой подделки под их говор и без разжевывания пищи духовной, словно для беззубых детей, от которого на версту несет фальшью и скукой? Где найти сочувствующих для сбора достаточных средств на оплату расходов по печатанию, по транспорту, по сношениям с Россией, по организации всего дела? В Швейцарии на авансцене политической жизни эмиграции я видел лишь социал-демократов. В ее рядах моим делом сначала заинтересовались было некоторые молодые рабочедельцы, но их сковывала боязнь, как бы ветераны группы «Освобождение труда» с Г. В. Плехановым во главе не обрушились на них за возврат к «ереси народничества». Из самих же этих ветеранов мне оказал многообещающий прием П. Б. Аксельрод; но и он после моей встречи с Плехановым отдалился от меня. Сочувственный отклик я нашел только у Х. О. Житловского в его «Союзе русских социал-революционеров». Но дела в союзе шли через пень колоду: очередной номер издаваемого им журнальчика «Русский рабочий» (там должен был появиться мой устав, а кстати, и общая оценка грядущего выхода крестьянства на авансцену политической жизни) никак не мог выйти в свет; по поводу же отданной союзу рукописи моей — об основных проблемах нашей тактики в



городе и деревне — в редакционной коллегии союза возникли бесконечные прения. Мое разочарование росло: казалось, я попал не туда, куда надо.

В этот момент пришли мне на помощь друзья; на выручку и был ими выписан неведомый мне дотоле Семен Акимович.

Приезжий был хорошего роста, широкий в кости, с мускулистыми руками чернорабочего. Крупные черты лица, большой, типично еврейский с горбинкой нос, глубоко посаженные горячие глаза. Но щеки впалые, и от сильной сутуловатости впалой казалась и грудь. Этому лицу чего-то недоставало — и вдруг меня озарило: если бы к нему придать окладистую седую бороду — какой бы вышел из него величественный раввин!

Оригинальна была вся фигура, оригинальна и личная судьба Семена Акимовича. Еще подростком, на пороге 70-х годов, попал он в водоворот еврейского «просветительства», властно захватившего целое поколение. Оно характеризовалось прежде всего внутренним отталкиванием от всех традиций, от всего старого бытового уклада еврейской жизни. Это было нечто вроде запоздавшего на еврейской улице вольтерьянства с примесью местно русского нигилизма.

Семен Акимович пробовал учительствовать. Среда, в которой он искал учеников, была типичной мещанской средой местечкового еврейства. Но первым препятствием, на которое он натолкнулся, было инстинктивное отталкивание этой среды от еврея, одетого в кургузый пиджак, бритого и не слишком строго придерживавшегося обрядового благочестия. Не удивительно, что долго он не выдержал. Но тут его выручило новое поветрие — движение «в народ». Его ожидания и надежды перенесли с еврейской улицы на широкие просторы общерусской жизни. Серые будни местечкового мещанского быта он сменил на таинственную полутьму угольной шахты. Этим эпизодом его юношеской биографии, признаюсь, он меня изумил.

Как? Он превратился в шахтера? Ведь «народ» — это, по понятиям тех лет, прежде всего — деревня. «Народ» сидит на земле. Откуда же у него взялась такая неожиданная мысль — непременно зарыться под землю? Ответ был простой и по-своему убедительный.

Политическому сыску в конце 70-х и в начале 80-х годов все обычные походы пропагандистов в деревню

уже успели намозолить глаза; искать революционеров под личиной и учителей, и фельдшеров, волостных писарей и офеней стало привычным делом. Надо было придумать какие-нибудь новые пути! И он решил уйти под землю.

За все время шахтерства ничей глаз за ним не следил. В сумрачной массе шахтеров он совершенно затерялся. Самый характер труда устранял мысль о какой-то фальши, маске, искусственном переодевании.

Среди шахтеров он был принят как свой; даже имя свое потерял. Шахтеры привыкли, что в их среду спускается всякий, у кого не оказалось «хода в жизни». В сущности, тут происходила всеобщая нивелировка на низшем уровне, ибо ниже шахтера стояли в обывательском сознании лишь крючник, босяк и бродяга. Среда нивелировала все, вплоть до имен. Остапы и Османы превращались одинаково в Осипов, Ибрагимы в Абрамов. Тут-то Соломон Раппопорт превратился в Семена Акимовича. Это новое имя он хранил как трогательное воспоминание о своем шахтерском периоде. Ибо шахтеров он успел полюбить: от них веяло чем-то цельным и надежным. «Для нас, революционеров, — говорил он, — этот подземный мир — суровая, но полезная школа. Разве знает, разве может знать революционер, что его ждет впереди? А может быть, каторга в сибирских рудниках? Революционер должен сам себя испытать, испробовать, что способен он выдержать и вытерпеть. И я дорожу шахтерским периодом своей жизни: то был своего рода экзамен на аттестат революционной зрелости».

За двумя этими периодами — учительским и шахтерским — у Семена Акимовича последовал третий — писательский.

Писателем его сделал случай, и открыл в нем писателя другой народник и эсер, вышедший, как и он, из еврейской среды, — Григорий Ильич Шрейдер, после революции 1917 года выдвинутый нашей партией на почетный пост петербургского городского головы. В те времена он был главным редактором большой провинциальной газеты «Юг» (в Екатеринославе). Одаренный редким редакторским чутьем, он обратил внимание на корреспонденции о быте шахтеров, явно написанные шахтером: он почувствовал бившуюся в нем художественную жилку, решил лично познакомиться с автором, вызвал его к себе и объявил ему приблизительно следующее: либо



он, старый литератор и редактор, ничего не понимает в литературе, либо Соломон Раппопорт — природный беллетрист, сам не сознающий своего дарования. Ему нужен хороший учитель из настоящих, сложившихся авторитетных беллетристов. Таким бы мог для него стать Глеб Успенский. И вообще ему нужна атмосфера большой столичной русской литературы. Он, Шрейдер, может дать ему специальное рекомендательное письмо к Успенскому да и вообще в редакцию народнического ежемесячного журнала Н. К. Михайловского.

У Семена Акимовича дух захватило от раскрывшихся перед ним головокружительных перспектив. Он волновался, принимал и отменял решения, копил деньги на поездку, переходил от веры в себя как будущего писателя к разочарованию в собственных силах. И наконец жребий был брошен. Семен Акимович — в Петербурге. Прямо с вокзала попадает он — как Чацкий «с корабля на бал» — на вечернее товарищеское чаепитие литературного штаба столичного народничества. Тут и Глеб Успенский. Прочитав рекомендательное письмо, Успенский обращается к нему с чарующей ласковостью, но скоро уходит — у него какое-то торжество в семье близких людей, засидится там до поздней ночи и зашел, чтобы не пропустить совсем собрания. Семен Акимович ловит каждое слово собравшихся, не замечает, как прошел вечер. Домой? Но куда же деваться Семену Акимовичу? Он в увлечении новизной положения как-то даже не имел времени об этом подумать. В столице — ни родных, ни знакомых. Для гостиницы нет «правожительства». И посоветоваться не с кем: Глеб Успенский, которому он рекомендован письмом Шрейдера, ушел; остальные для него — коллективный аноним: редакция. Сказать о своей беде кому-нибудь из нее? Одна мысль об этом бросает его в жар. И он машинально поступает как все: одевается, прощается и выходит — выходит на пустующие улицы чужого, незнакомого, неприветливого большого города. Он ходит, ходит, ходит — из улицы в улицу, с бульвара на бульвар. Так проходит час за часом. Как убийственно долга ночь! И вдруг навстречу какая-то знакомая фигура. Да, сомнений быть не может: это покинувший собрание ради чьего-то семейного торжества Глеб Успенский! Он в изумлении узнает в приезде пиющего собрата из шахтеров. Чего он ищет в такой поздний час, близкий к рассвету час на улицах? Таится

далее невозможно, и Успенский впервые воочию познает скорбную и унижительную трагедию «правожительства», о которой сам только слышал. Подхватив рассказчика под руку, Успенский увлекает его к себе, поит чаем, почти силком укладывает в собственную постель и садится сам в ноги: он хочет знать во всех подробностях нагую правду о жизни евреев. Семен Акимович рассказывал-рассказывал и сам не заметил, как рассказ его на чем-то оборвался. Рассказчик на полуслове забылся и заснул — вероятно, коротким, но крепким сном. И вдруг что-то внутри точно его подтолкнуло. Он открыл глаза и спросонок не сразу даже и сообразил, куда он попал. И вдруг, обведя глазами комнату, вернулся к действительности. В его ногах, словно немая фигура безысходной скорби, сидел Глеб Успенский в той самой удрученно-задумчивой позе, в которой он начал свои расспросы. Но вот из его глаз медленно выкатилась крупная слеза... другая... третья. Нервное движение смахивающей слезу руки — и потом опять сбегающие слезы.

Для Семена Акимовича это было незабываемое переживание. Он сам не мог рассказывать о нем без дрожи в голосе и без увлажненных глаз. Подобно многим, на долю которых выпало счастье сближения с Глебом Успенским, Семен Акимович сразу подпал под неотразимое обаяние этого единственного в своем роде человека. Кто-то метко сказал, что в Глебе Успенском был каждый вершок оригинален, как в короле Лире каждый вершок — королевский. Богат был неожиданными озарениями его талант! Великолепны были брызжущие остроумием его беседы и неистощимый тонкий юмор повествований — ресурсы, которыми он как будто бессознательно боролся с маревом бездонной тоски, навеваемой подступами душевной болезни, исподволь его осиливавшей; трогательна была его почти ребяческая беспомощность в материальных делах; прекрасны были его скорбные глаза, в которых отражалась его богатая, но искони неуравновешенная и взволнованная натура. Семен Акимович не раз пытался показать мне во весь рост эту необыкновенную личность — и каждый раз у него опускались руки: его не покидало ощущение, что все же снова и снова он чего-то недосказал и что ему не удалось вскрыть передо мной тайну того очарования, из-за которого Глеб Успенский был окружен толпами молодежи, слышшей под кличкой «глеб-гвардии», хотя сам Успенский

всячески бежал от публичных оваций, весь сжимался от них, как мимоза. Семен Акимович был одним из преданнейших «глеб-гвардейцев».

— А знаете,— сказал мне Семен Акимович,— что мне очень трудно далось в начале моей писательской работы? Ни за что не угадаете — это как мне подписываться под своими вещами! Пользоваться собственным именем мне было как-то стыдно. Ну, Тургенев там, что ли, или Писемский, или Островский — это сразу дает понятие, какого рода пищу духовную тебе дают. А что же я влезу каким-то ничего никому не говорящим Соломоном Раппопортом? Выручил тот же Глеб Иванович. Взял он мои инициалы из клички шахтерского быта: С. А. А потом наудачу написал «Ан...», задумался, поставил тире и дал концовку — «ский». Хотите, спрашивает, ну вот хотя бы так? Я обрадовался — страшно мне это понравилось, должно быть, просто потому, что это было написано его рукой и его почерком. Так вот с тех пор и стал я С. А. Ан-ский. Дал Глеб Иванович мне первую выучку беллетриста, дал и литературное имя и, наконец, внушил мне идею — поехать за границу, чтобы отрешиться до конца — как он выразился — и от еврейского провинциализма и от провинциализма русского. И он же устроил меня в Париже личным секретарем Петра Лавровича Лаврова. Точно чувствовал, что долго моим учителем ему самому уже не быть.

Я вообще редко сблизился с первого знакомства и очень трудно переходил на ты. Но с Семеном Акимовичем это вышло как-то самотеком, и я сам не заметил, как и когда это вышло. Такая уж была у него бесхитростная и детски непосредственная манера подходить к другим людям. Это был истый богема, художественная натура, бесконечно подвижная, покорявшая своей бесхитростной прямоотой, а главное — способностью раскрываться без остатка тем, кто приходился ему по сердцу. Не раз бывало, что он придет, сыплет остротами и анекдотами, сам смеется и вас заставляет смеяться. И следом совершенно преобразится: станет тихим, задумчивым, задушевным. А из глубоко посаженных глаз выглянет вековая еврейская тоска. Может быть, отсвет той первородной еврейской тоски, под знаком которой его предки «сидели и плакали на реках вавилонских»?

При обсуждении привезенного мной чисто мужицкого дела Семен Акимович сам как будто перевопло-

щался. Он уже тревожился: во всей ли полноте я к этому делу привязан? Это дело он готов был защищать от всех — если надо, так и от меня самого. Он нервно расхаживал по комнате, разговаривал более сам с собой, чем со мной.

— Да отдаете ли вы сами себе отчет, волгарь вы эдакий, что для нас, для старой эмиграции, значит ваш приезд? Ах, если бы только знать, что ваши наблюдения вас не обманывают! То, что вы привезли за границу, для нас есть оправдание прошлого и обетование будущего... Но такое огромное дело надо вести вперед не узкими, едва протоптанными тропинками отдельных кружков. Ему нужна широкая столбовая дорога. По ней маршрут — целая эпопея! Ведь это же — возрождение на новых началах, и непременно рука об руку с мировым социализмом, всего того, что было бессмертным, начиная с самых исходных фаз нашего движения, всего ныне оболганного и высмеянного народничества. Оно должно восстановить в новом блеске имена Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Лаврова, Михайловского в лице их продолжателей — тех, чьи имена еще скрыты в тумане грядущего. Нет, те друзья, которые вас предостерегали от поспешных, случайных решений, тысячу раз правы. Первые торопливые промахи могут скомпрометировать все дело. Житловский и его сотрудники — почти сплошь милейшие люди, но разве это — дееспособная организация, могущая вынести на своих плечах ответственность за такое дело? У нас в Париже есть, правда, такая заслуженная организация, как «Группа старых народовольцев» с Петром Лавровичем Лавровым во главе; он один — настоящая Мекка эмиграции. В Лондоне есть «Фонд вольной русской прессы» с Волховским, Шишко, Чайковским, Лазаревым — тоже не последними ветеранами нашего дела; там же есть военно-революционная газета «Накануне» Серебрякова — наше наследие от военного отдела Исполнительного комитета «Народной воли». Есть в их орбитах и отдельные эмигранты из партии В.С.П.С. — «всякий сам по себе». Беда только в том, что между всеми этими группами связи нет, если не считать — увы! — кое-каких старых эмигрантских счетов, трений и недоразумений. Вот почему в старые мехи новое вино вливать не следует. Крестьянское дело надо ставить отдельно, как нейтральное по отношению к их счетам и объединительное по существу... Разве я не прав?



## ОГЛАВЛЕНИЕ

### Наследие В. М. Чернова

(С. Сергеев)

3

### Глава первая

Волга, Волга, мать родная.— Детство.— Семья.—  
«Двухпалатная система»

18

### Глава вторая

Саратовская гимназия.— Первые кружки.—  
Толстовство и антитолстовство.—  
В. А. Балмашев.— М. А. Натансон

35

### Глава третья

В Дерпте.— Последние гимназические впечатления.—  
Опять Саратов: холерные беспорядки.—  
В Московском университете.— Союзный совет.—  
Споры народников с марксистами.—  
Н. К. Михайловский.— П. Н. Милуков.—  
Новое народовольчество.— Организационные  
планы М. А. Натансона

51

### Глава четвертая

Арест.— Зубатов.— Отправка в Петербург.—  
В Петропавловской крепости.— Освобождение.—  
Родной Камышин

77

### Глава пятая

В Тамбове.— Земцы.— Старые революционеры.—  
Работа среди крестьян.— Последняя встреча  
с Н. К. Михайловским.— Отъезд за границу

91

### Глава шестая

За границей.— Цюрих: первое знакомство  
с П. Б. Аксельродом и Г. В. Плехановым.—  
Закат народовольчества.— Социал-демократы,  
либералы и народники.— Х. О. Житловский  
и его «Союз русских социалистов-революционеров».—  
С. А. Ан-ский.

100

### Глава седьмая

В Париже.— И. А. Рубанович и Мария Ошанина.—  
У постели умирающего Лаврова.— Аграрно-  
социалистическая лига.—

Л. Э. Шишко.—

Ф. В. Волховской.— Е. Е. Лазарев

116

### Глава восьмая

Григорий Гершуни.— Екатерина Брешковская.—  
Гершуни и Зубатов.— Рабочая партия политического  
освобождения России.— Образование партии  
социалистов-революционеров

126

### Глава девятая

М. Р. Гоц.— Беседа молодого Гоца с молодым  
Зубатовым.— Мое первое знакомство с Гоцем.—  
Гоц — душа заграничной организации партии  
социалистов-революционеров.— Арест Гоца и  
требование русского правительства о его выдаче.—  
Кампания в пользу его освобождения.—

О. С. Минор.— Деятельность Аграрно-социалистической лиги.—  
Н. С. Русанов и «Вестник русской революции»

139

### Глава десятая

Боевая организация.— Убийство министра Сипягина  
и другие террористические акты.— Казнь Степана  
Балмашева.— Арест Гершуни.— Суд над ним  
и заключение его в Шлиссельбургскую крепость

158

### Глава одиннадцатая

Азеф во главе боевой организации.— Убийство Плеве.—  
Егор Сазонов, Борис Савинков и Иван Каляев

170

### Глава двенадцатая

Моя поездка в Германию.— «Грызуну науки»  
в германских университетах.— Абрам Гоц, Николай Авксентьев,  
Илья Фондаминский, Владимир Зензинов и Дмитрий Гавронский

186

405

### Глава тринадцатая

Партия социалистов-революционеров  
и Социалистический Интернационал.—  
Амстердамский конгресс Интернационала.—  
Борьба социал-демократов против допущения эсеров  
в Интернационал.— Победа партии социалистов-революционеров.—  
Брешковская и Житловский в Америке.—  
Приезд М. А. Натансона.— Переговоры о создании  
единого фронта всех революционных и оппозиционных  
партий в России.— Парижская конференция 1904 года

193

### Глава четырнадцатая

Возвращение «грызунов» в Россию.—  
Максимализм Бабушки.— Споры об аграрном терроре.—  
Письмо Гершуни.— 1905 год в эмиграции.—  
Тяга на родину

208

### Глава пятнадцатая

В Петербурге.— «Сын отечества».— Г. И. Шрейдер  
и С. П. Юрицын.— Н. Ф. Анненский, А. В. Пешехонов  
и В. А. Мякотин.— Петербургский Совет рабочих  
депутатов.— Символический жест Г. А. Лопатина

231

### Глава шестнадцатая

В Петербурге.— Н. Д. Авксентьев и И. И. Фондаминский.—  
Разногласия в партии социалистов-революционеров.—  
Первый съезд партии.— Перводумье.— Наша печать.—  
А. И. Гуковский.— Смерть Михаила Гоца.— Абрам Гоц  
в боевой организации.— Побег Гершуни.— Азеф  
и генерал Герасимов.— Партия и боевая организация.—  
Гершуни на съезде в Таммерфорсе.— Гершуни,  
Азеф и Савинков.— Смерть Гершуни

250

### Глава семнадцатая

Конференция партии социалистов-революционеров  
в Лондоне.— Итоги революции 1905—1907 годов.—  
Разоблачение Азефа.— Поездка О. С. Минора в Россию  
и его арест.— Арест Брешковской и Чайковского.—  
Шишко и Волховской в годы революции.— Правое течение  
в партии эсеров.— Начало психологического «отрыва» Савинкова

273

### Глава восемнадцатая

Наши взаимоотношения с Польской социалистической  
партией (ППС).— Доклад Пилсудского в Париже  
накануне первой мировой войны.— Разрыв ППС и ПСР.—  
Война.— Раскол в социалистических рядах.—  
Социал-патриоты, интернационалисты и пораженцы.—  
Циммервальдская конференция.

289

406

### Глава девятнадцатая

1917 год.— Через Англию и Швецию в Петроград.—  
В революционной столице.— Абрам Гоц.— Народ  
и революция.— Бабушка, Натансон, Авксентьев,  
Минор.— И. Г. Церетели и Н. С. Чхеидзе

304

### Глава двадцатая

III съезд партии эсеров.— Резолюция о войне и мире  
и об отношении к Временному правительству.—  
Князь Г. Е. Львов.— Образование коалиционного  
правительства с участием социалистов.—  
Политические трудности

316

### Глава двадцать первая

Разнобой в партии социалистов-революционеров.—  
Правые, левые и левый центр.— А. Ф. Керенский.—  
Уход кадетских министров и заговор Корнилова.—  
Демократическое совещание.— Октябрь.— IV съезд партии  
социалистов-революционеров.— Откол левых эсеров.— Всероссийский  
съезд крестьянских депутатов.— Петроградский  
Совет и Собрание уполномоченных от фабрик и заводов

329

### Глава двадцать вторая

Учредительное собрание.— Заговор против  
народной воли.— Страшная ночь

345

### Глава двадцать третья

После разгона Учредительного собрания.— Восстание  
на Волге.— Чехословацкий легион.— Фронт  
Учредительного собрания.— Уфимское совещание  
и образование Директории.— Переезд Директории  
в Омск и переворот адмирала Колчака.— Второй разгон  
Учредительного собрания

359

### Глава двадцать четвертая

Мой отъезд в Москву.— Наша легализация  
как политическая провокация.— Нелегальная  
жизнь в столице.— Гоц в Москве.—  
Прибытие английской рабочей делегации  
и собрание печатников.— Нелегальный  
отъезд из России

387